

## ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ИСТОРИЯ И ЭТИКА?

*Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 15-33-01003 «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности».*

Предпринят анализ этического потенциала исторического знания. С этой целью осуществлена предварительная экспликация сложившихся контекстов обсуждения данной темы. Утверждается, что этическое измерение должно стать определяющим принципом организации исторических исследований, но вынесение моральных суждений не должно являться собственной задачей историка. Выдвигается тезис, что функция исторического исследования должна заключаться в подготовке материала для дискуссии о моральной правомерности тех или иных форм жизни.

**Ключевые слова:** историческое познание; исторический нарратив; моральное суждение; моральные ценности; моральная вовлеченность; моральная ответственность.

Дискуссия о праве и необходимости историка совершать моральные суждения имеет давнюю историю. Аргументация как противников, так и сторонников выглядит вполне убедительной. Первые вполне резонно утверждают, что вынесение моральных суждений находится за пределами профессиональной компетентности исследователя. По их мнению, подлинная задача историка заключается в получении знания. «“Поиск истины”, реконструкция прошлого таким, каким оно было в действительности, – вот та единственная вещь, на которой историки должны сконцентрироваться» [1. Р. 52]. Данный тезис кажется очевидным. Более того, он превратился в тривиальность, сопутствующую и сопровождающуюся повторяющейся банальностью о субъективности и относительности моральных убеждений.

Критики справедливо отмечают, что утверждение о необходимости сосредоточиться на поиске истины само опирается на консенсус, достигнутый профессиональным и интеллектуальным сообществом в целом по поводу тех целей, которым должно служить историческое, да и гуманитарное знание в целом. В философско-исторических проектах Просвещения тезис о подлинной роли и ценности такого знания был заявлен достаточно прямо. В частности, Болингброк утверждением о том, что история – это философия, которая учит нас с помощью примеров, выразил это общее убеждение. Смысл данных примеров он конкретизировал в мысли, что «изучение истории кажется мне из всех других занятий наиболее подходящим, чтобы воспитывать в нас личную и общественную добродетель» [2. С. 11]. Стоит отметить, что кажущаяся непроблематичность списка таких добродетелей для новой европейской культуры, помимо прочего, стала решением важной эпистемологической задачи – формирование консенсуса по поводу объекта исторического письма. Тем самым то, что когда-то было предметом споров и дискуссий, а именно приемлемые общественные цели и ценности, само стало контекстом, разделяемым исследовательским сообществом. Позитивизм тезисом о закономерном движении человечества в направлении прогресса не только закрепил данный контекст, но одновременно затемнил эту связь между знанием и ценностями, создав иллюзию поиска объективного знания ради него самого.

Радикальность утверждения о ценностном контексте заключается в допущении, что он является не про-

сто результатом стечения исторических обстоятельств, исправимым в процессе роста самосознания историков, а имманентным условием возникновения и существования самого исторического знания. Иначе говоря, можно настаивать, что как сам интерес к прошлому, так и те или иные способы его интерпретации возникают только в силу определенных общественных потребностей. С этой точки зрения прошлое как таковое возникает для нас не потому, что «объективно» существует, а потому что востребуется для решения тех или иных культурных и практических задач.

Конечно, та сфера, что характеризуется как социально-культурный контекст, шире, чем контекст этический, поэтому можно считать последний составной частью первого. Такие контексты могут рассматриваться в двух аспектах: как цели, которым знание может или должно служить, и как предпосылки, которые это знание обуславливают. Наконец, сама идея контекста подразумевает определенный способ его связи со знанием как соотношение внешнего и внутреннего. Поэтому возможно, что сам дискурс, оперирующий понятием контекста, в перспективе мало удачен для характеристики связи истории и этики и предполагает дальнейшее прояснение или изменение способов описания данной темы.

Тем не менее пока резонно утверждать, что данные контексты не просто неустранимы, но, напротив, только они способны придать смысл производству исторического знания. Этот тезис означает, что их игнорирование не позволит понять природу исторического знания и смысл его создания. По меткому замечанию Франклина Анкерсмита, ценности «часто будут полезным и даже необходимым гидом на нашем трудном пути к исторической истине» [3. Р. 5]. Если это так, то, как справедливо отметил Beverley Southgate, вопрос будет состоять не в том, должны ли историки принять «неизбежность своей этической вовлеченности, а в том, в чем такая вовлеченность должна состоять» [1. Р. 56]. Поэтому периодическая экспликация культурных контекстов становится необходимой, но не для того, чтобы раз и навсегда освободить исторический дискурс от предрассудков, которые он разделяет вместе со своей эпохой, а чтобы правильно ввести их в игру, обеспечивающую продуктивную связь эвристичности и публичной востребованности исторического знания.

Итак, ключевой вопрос тогда заключается в том, в чем должна состоять этическая ответственность исто-

рика, где должно находиться место для его моральных суждений и в чем они должны выражаться. Иначе говоря, если мы принимаем тезис о правомерности и необходимости моральной вовлеченности историка, то стоит конкретизировать, как она может и должна реализовываться в его деятельности, или, как отметил Keith Jenkins, «к кому и на что она была бы направлена» [4. Р. 45].

Движение в этом направлении стоит начать с анализа классических, так сказать, форм этической нагруженности исторического письма. Тогда вопрос о моральной ответственности может быть истолкован прежде всего как вопрос об этической оценке, где она имеет смысл, где ей место в историческом тексте. В свое время Габриэль де Мабли заметил, что «если говорить о разного рода приятностях, то вы прекрасно понимаете, сколь способствует им торжественная риторика. Она побуждает внимание читателя, прерывает однообразие повествования и направляет или скорее побуждает историка пользоваться то одними, то другими средствами красноречия» [5. С. 186]. По сути, Мабли поставил вопрос о продуктивной композиции исторического нарратива. Однако с этой позиции рассыпание этических оценок по тексту может выступить скорее препятствием, чем условием для понимания и создания исторического текста. К тому же такой подход приводит к смещению целей исследования. Ведь одно дело искать доказательства и опровержения гипотез по поводу черт самого прошлого, а другое – судить о моральной значимости этих черт.

Алан Мегилл справедливо отмечает, что этическая оценка не обязательно должна носить эксплицитный характер [6. Р. 53]. Проблема в том, как продолжает Мегилл, что если такие оценки согласуются с моральным консенсусом, достигнутым сообществом историков, то рискуют быть воспринятыми как лишние необходимости, если же они отражают идиосинкразию автора, то рискуют оказаться неоправданными [Ibid.]. Эта мысль носит более глубокий характер, чем может показаться на первый взгляд. Дело в трактовке сути моральной ответственности историка, а именно ее редукции к осуществлению моральных оценок. Можно предположить, что такое истолкование вне зависимости от намерений автора сводит ее, во-первых, к совокупности простых субъективных предпочтений или мнений, а во-вторых, создает устойчивое впечатление их избыточности для исторического исследования, избыточности, которая ничего не проясняет ни в самом тексте, ни в значении такого текста для реализации моральных ценностей. Поэтому можно утверждать, что такой путь лишь дискредитирует связь истории и этики.

Также Мабли подчеркивал, что история украшается моралью в искусных руках [5. С. 164]. Суть такой искусности в том, что «историк должен дать мне возможность заранее почувствовать в этом благоденствии причины упадка. Тогда все разворачивается само собой, факты естественно проистекают одни из других, и именно в этом и состоит все искусство изложения всеобщей истории» [Там же. С. 167]. Данную методологию можно охарактеризовать как умение подвести читателя к пониманию, которое достигается

не назойливым навязыванием своих оценок, а мастерской организацией текста в желаемом направлении. Недаром тот же Мабли утверждал, что «мораль тем естественнее соединяется с историей, что благодаря вечным законам Провидения добродетель несет мир в сердца людей, а порок вселяет в них смущение и страх» [5. С. 164]. Как бы в ответ на данное суждение Анкерсмит заметил, что историки, возможно, столь чувствительны к влиянию политических и моральных ценностей, что чувствуют их опасность для получения исторической истины, но не потому, что они сдвигают ее поиск в сторону, а потому, что трудноотличимы от ее поиска [3. Р. 4].

Мысль Анкерсмита можно проинтерпретировать следующим образом. Резонно полагать, что организация исторического повествования как воплощения тех или иных моральных ценностей стирает грань между доказательством и манипуляцией, хотя и создает ощущение объективности, особенно если такая организация носит имплицитный характер. Причина заключается не только в степени честности историка или «субъективности» моральных ценностей как таковых. Суть, как представляется, в выборе нарративного формата. Можно утверждать, что если исторический нарратив построен для оправдания или ниспровержения тех или иных ценностей, то самой целью обречен на односторонность в выборе значимых свидетельств, несмотря на внешнюю научную респектабельность. Если это так, то вопросы, в чем должна заключаться моральная вовлеченность историка и как она должна реализовываться, остаются в силе.

Уже цитированный выше Мегилл обсуждает утверждение американской исследовательницы Edith Wyszogrod о цели исторического исследования предоставить голос тем, кто не имел возможности сказать, чей голос не был слышен или услышан. Речь прежде всего идет о жертвах исторических событий или процессов. Эта мысль была выдвинута, в частности, Жаном-Франсуа Лиотаром и применительно к теме этической ответственности историка актуализирована Keith Jenkins [4. Р. 52–56]. Она заключается в утверждении, что даже радикальное неприятие чьей-либо позиции в той или иной мере подразумевает признание ее значимости или права на существование. Соответственно, абсолютной несправедливостью тогда будет даже не столько нежелание выслушать аргументы другой стороны, сколько игнорирование самого ее права и возможности высказаться. Wyszogrod трактует этот тезис как основание для определения статуса и смысла этической ответственности историка. По ее мнению, историческое исследование, по сути, есть обещание не забывать, и этот акт, первичный по отношению к историческому нарративу, носит характер этический, а не эпистемологический [7. Р. 30].

Как отмечает Мегилл, своими размышлениями «она [Wyszogrod] привлекает внимание к тем жертвам геноцида, что были лишены возможности самими выступить в роли истца» [6. Р. 65]. основополагающая установка самого Мегилла по этому поводу заключается в утверждении, что «историк – судья, а не адвокат» [Ibid. Р. 66]. Что означает эта мысль? Бес-

спорно, что в отношении ряда событий, особенно недавнего прошлого, этическая оценка которых носит или приобрела общезначимый однозначный характер, позиция историка как представителя подавленных голосов кажется правомерной. Но ее расширение на историческое познание в целом требует некоторого прояснения.

Прежде всего, Мегилл полагает, что статус жертвы не может быть приписан, а должен быть установлен посредством исследовательских процедур [6. Р. 65]. Иначе говоря, нет прямой связи между призывом к историку выступить представителем неслышанных или неуслышанных голосов и приписыванием им статуса жертвы. Можно вполне согласиться с первой частью данного утверждения как несколько метафорической интерпретацией сути исторической работы. Действительно, если хороший историк – это тот, кто может представить оригинальную версию прошлого, то степень оригинальности определяется, помимо прочего, способностью встать на позицию, с которой вещи будут видеться иначе или с которой будет видеться то, что не виделось раньше. А это, скорее всего, будет связываться с экспликацией ранее неуслышанных голосов. Но правомерно ли считать их жертвами, а в более широком смысле, претендовать на моральную однозначность исторических интерпретаций?

Ведь даже в недавней истории можно найти массу примеров весьма неоднозначной, если не противоположной, этической оценки тех или иных исторических личностей, событий и процессов. Более того, зачастую даже признание у них одних этически негативных черт часто сопровождается перечислением черт этически позитивных, что предполагает саму по себе сомнительную процедуру взвешивания достоинств и недостатков. Ситуация усугубляется, если речь начинает идти о периодах, удаленных от нас как по времени, так и по этическим стандартам. Моральный суд в таких случаях отдает опасным презентизмом, утрачивая свою как моральную, так и эвристическую силу.

Поэтому Мегилл полагает, что решающее этическое обязательство историка – говорить истину [Ibid. Р. 54]. Против этого тезиса трудно возразить. Но, тем не менее, и он поднимает некоторые вопросы. Мегилл бесспорно прав, утверждая, что историк должен занять двойную дистанцию: как по отношению к прошлому, так и по отношению к настоящему [Ibid. Р. 61]. Дело здесь, конечно, не в том, чтобы встать на отстраненную позицию, как от влияния прошлого, так и от бурь современности в надежде на вневременную объективность, а в том, чтобы отчетливее обозначить место оправданного произнесения исторических высказываний.

Определение такого места предполагает одну имплицитную, а потому нерелевантную установку, что требование говорить истину подразумевает консенсус по поводу круга релевантных исторических сюжетов. Внутри устоявшихся исследовательских парадигм их выбор кажется очевидным. Но ситуация усложняется в свете реализации критической рефлексии по этому поводу. Как известно, Артур Данто в свое время отметил, что «спрашивать о значении некоторого собы-

тия в *историческом* смысле этого термина – значит ставить вопрос, на который можно ответить только в контексте заверщенного рассказа» или «в соответствии с разными множествами более поздних событий, с которыми его можно связать» [8. С. 20]. Иначе говоря, по Данто, объект (сюжет) приобретает исторический характер, если порождает некоторые значимые последствия. Опуская в стороне опосредующие звенья, отметим, что современность является конечным пунктом их определения.

Понятно, что диагноз нашего времени и определение значимого прошлого сами являются результатом исследований, а не априорных установок. Рано или поздно они приобретают характер имплицитных контекстов, но именно внутри них мы, в конечном счете, смотрим на те или иные сегменты прошлого как на возможные объекты исторического исследования. Но это означает, что поиск истины осуществляется по поводу сюжетов, которые уже детерминированы такими контекстами. Недаром несколько в критическом аспекте Jenkins справедливо подчеркнул, что «что большинство академических историков не думает о вещах, которые воплощают собой тихие и скрытые механизмы идеологической власти в нашей текущей социальной формации» [9. Р. 18].

Что касается определения природы таких контекстов, не будет особым открытием тезис о практическом интересе как основании обращения к прошлому. Речь, конечно, не об оправдании современных ценностей (политических, культурных и т.д.) посредством истории, а о поиске истоков интереса к прошлому за пределами самого исторического знания. Есть глубокая истина в расхожей фразе о том, что без знания прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. Мысль «понять настоящее» можно истолковать как определение тех черт, которые в нем надлежит изменить или сохранить. Как то, так и другое подразумевают наличие некоторой перспективы и с необходимостью предполагают обращение к прошлому (говоря категоричнее, открытие самого прошлого), где мы ожидаем найти как минимум две вещи. В том, что касается недавнего прошлого, мы желаем обнаружить причины, породившие нашу современность. В том, что касается давно минувших дней, мы стремимся осмыслить их как некоторый исторический опыт, позволяющий нам лучше понять, что и как надлежит делать (или не делать). Поэтому даже если в современной культуре будущее зачастую воспринимается как продолжение настоящего в силу отсутствия нужды в радикальном ином проекте будущего, историческое измерение открывается нам лишь в свете будущностно-ориентированной перспективы. Стоит согласиться с утверждением Йорна Рюзена, что «не существует исторической мысли без более или менее скрытой перспективы темпорального изменения, которое ведет в будущее и посредством своих интенций служит фактором в определении направления человеческой активности» [10. Р. 197].

Как представляется, именно в определении условий исторического интереса содержится решение вопроса о сути этической вовлеченности историка. Говоря иначе, вопрос о взаимоотношении этики и исто-

рии может быть проинтерпретирован как вопрос о том, что первично, а что вторично. Этика ли определяет сюжеты и сам смысл рациональной аргументации или она извне приходит к историческому знанию уже после того, как историческое предприятие состоялось?

Джон Ролз, как известно, начал свою знаменитую книгу с утверждения, «что справедливость – это первая добродетель Общественных институтов» [11. С. 19]. Более того, он подчеркнул, что как бы ни были эффективно и успешно устроены законы и институты, они «должны быть реформированы или ликвидированы, если они не справедливы» [Там же]. В более широком смысле мысль Ролза можно трактовать как характеристику ценности этической составляющей в человеческом бытии. Можно сказать категоричнее. Тему поиска и обеспечения достойной жизни следует считать единственной достойной темой человеческого познания и практики. Если это так (оставим в стороне вопрос о трактовках как самой справедливости, так и определения ее статуса в этике, а также приоритете тех или иных этических концепций в целом), то этическое предстает не чем-то, извне приходящим к тем или иным формам жизни, а необходимым и имманентным принципом их организации. Справедливо отметил когда-то Джон Локк: «Ибо разумным будет заключение, что наше собственное назначение заключается в таком исследовании и в такого рода познании, которое всего более соответствует нашим природным способностям и включает в себя наши главные интересы, т.е. обеспечение нам вечной жизни. Отсюда, мне думается, я могу заключить, что вопросы *этики суть настоящая наука* и они составляют *задачу человеческого рода вообще...*» [12. С. 125].

Где тогда место этического в историческом письме? Мегилл несколько афористически заметил, что этика исторического исследования скрывается на уровне не самого текста, а его создания [6. Р. 53]. Этот тезис можно интерпретировать следующим образом. Резонно полагать, что этическое измерение следует считать имманентной частью исторической мысли, если история призвана помочь нам открыть причины настоящего и подать прошлое как серию опытов реализации тех или иных форм жизни, а идентификация настоящего и обсуждение устройства и перспектив социальных институтов вне их морального измерения бессмысленно, да и просто немислимо. С этой точки зрения этическое, конечно, первично по отношению к историческому, поскольку обуславливает цели и смысл создания исторических текстов. Но тезис Мегилла также означает, что этическое наполнение следует трактовать не как составную часть каждого исторического нарратива, а как принцип организации и определение направления исторических исследований. Иначе говоря, моральная вовлеченность является имманентной частью исторической мысли, но отнюдь не обязательным элементом каждого исторического нарратива.

Эту мысль будем рассматривать как исходную методологическую установку. Если представить ее в несколько метафорической форме, то можно сказать, что этическое располагается и должно располагаться на входе и выходе исторического предприятия. Один

аспект этого утверждения выше уже был рассмотрен. Он воплощен в утверждении, что историческая мысль невозможна вне моральной насыщенности окружающего ее контекста. Более того, моральный контекст имеет еще и эвристическую ценность. Суть в том, что он меняет или расширяет угол зрения на прошлое, помогая увидеть как сами объекты, так и то в этих объектах (событиях, институтах, нормах, процессах и т.д.), что мы бы в принципе не увидели, не имея этического угла зрения. Справедливо было подчеркнuto, что цель этики заключается «в расширении нашей социальной карты для того, чтобы обеспечить доступ к маргинальным формам существования, чье страдание проходит как неопознанное» [13. Р. 227]. Поэтому чем выше наша моральная чувствительность, тем богаче способы видения прошлого. И наоборот, согласимся с оригинальной мыслью Анкерсмита, что стоит предпочесть такие политические и моральные ценности, что способствуют созданию наиболее сильных и успешных репрезентаций прошлого [3. Р. 22].

Но в силе остается вопрос, как этическое будет и должно присутствовать в самом историческом тексте или должен ли сам историк выносить моральные суждения по поводу изучаемых им объектов? Выше уже было отмечено, что вряд ли стоит возвращаться к трактовке ценности исторического знания как прямой иллюстрации нравственных добродетелей и пороков. Столь же дискредитировал себя метанарратив, повествующий о поступательном воплощении моральных ценностей в истории. Поэтому представляется, что историческое предприятие должно осуществляться скорее в свете моральных ценностей, но не с целью их прямого подтверждения или опровержения. Тем самым этическое измерение истории – это вопрос не столько о том, что писать, сколько о том, как писать.

Если использовать язык юриспруденции, то в противовес Мегиллу и в предпочтении Коллингвуду резоннее рассматривать исследования историка как работу не адвоката или судьи, а следователя. Тогда этическая вовлеченность историка заключается не в вынесении морального суда и собственного приговора, а в тщательной подготовке и предоставлении материала для последующего ведения судебного процесса. Как исследователь историк скорее должен обладать инструментами, делающими его открытым и чувствительным к многообразию и разнообразию голосов, прямо или косвенно звучащих в свидетельствах о прошлом. Но дело здесь не в абстрактном поиске истины безотносительно способов ее использования, а в отчетливом осознании целей, ради которых истина ищется. Именно включение этического измерения в качестве контекста позволяет взвешивать все «за» и «против» в имеющемся эмпирическом материале, но даже определяет само направление его поиска. Но, опять-таки, добротное знание такого контекста заключается прежде всего в повышении чувствительности в поиске свидетельств для создания более богатой и насыщенной картины прошлого. Иначе говоря, задача историка не давать своими изысканиями готовый ответ, а подготовить материалы для постановки вопроса о моральной правомерности тех или иных форм жизни.

В свете утверждений о такой роли контекстов скорее встает другой вопрос: как тогда отнестись к тому,

что историческое знание уже ценностно ангажировано, и эта черта ему имманентно присуща. Бесспорно, что ее избежать нельзя. Но можно полагать, что история в этом вопросе разделяет судьбу как гуманитарного знания в целом, так и знания вообще. Поэтому, если отказывать ей в праве на возможность получения надежного (конечно надежности в современном или постклассическом смысле) знания, то это надлежит делать по отношению к любому виду знания. Естественные науки здесь не исключение и не воплощение островка объективной истины в океане субъективности. Поэтому упреки истории в имманентно присущей ей манипулятивности проистекают отнюдь не из определения ее природы, а скорее являются следствием сохранения архаических представлений о характере моральной вовлеченности историка. Когда-то Мабли с восхищением писал, что «Тацит не упустил ни одного случая, когда высокостойный муж погибал по воле цезаря, чтобы не извлечь из сего поучительный пример» [5. С. 164]. Рискнем утверждать, что воспроизведение такого подхода как раз будет отражать лишь некритически воспринятые представления Античности и Просвещения о моральном предназначении историка.

Если это так, то в историческом исследовании скорее стоит сосредоточиться не на методологии рассыпания моральных оценок, а на разработке конкретных инструментов, обеспечивающих надежность знания. Не вдаваясь в подробности, контурно отметим некоторые аспекты.

Во-первых, как ни банально это прозвучит, стоит говорить о субъективной честности историка как необходимым условии обеспечения надежности знания. В данном контексте это означает способность действовать не благодаря, а вопреки. Иначе говоря, надлежит найти в себе силы сопротивляться своим же ценностным установкам, если они вступают в конфликт с полученным историческим материалом. Это требование не следует толковать как оправдание тех вещей в прошлом, что вызывают моральное неприятие в настоящем. Дело здесь вообще не в моральном оправдании или осуждении. Дело в способности увидеть и принять материал, который может вступать в противоречие с устоявшимися интерпретациями, даже если по их поводу достигнут моральный консенсус.

Во-вторых, речь должна идти о поиске и разработке нарративных форматов, обеспечивающих персональную честность. Говоря языком нарратологии, надо попытаться не попасть в ситуацию ненадежного рассказчика, когда намерения автора вступают в противоречие с инструментами, которые он использует. Действительно, описание прошлого лишь в свете успехов или неудач вне зависимости от авторских интенций заставляет трактовать его как обоснование / оправдание притязаний или крушение ожиданий, что оборачивается неизбежной глухотой к голосам других и односторонностью в поиске свидетельств. Резонно утверждать, что приемлемый нарративный формат заключался бы тогда не в стремлении представить прошлое как некоторую «нерассказанную историю или часть ее и пересказать ее пусть в сокращенной или отредактированной форме» [14. Р. 188]. Историческое исследование лучше выглядело бы как поста-

новка проблемы, формулировка гипотезы и последующая организация эмпирии как доказательства или опровержения данной гипотезы.

В-третьих, следует не просто провозглашать, но и реализовать представление о сообществе историков как коммуникативном сообществе. Это, кстати, позволяет понять еще один аспект архаичности представлений о формах моральной вовлеченности историка. Очевидно, что современное знание уже не является совокупностью больших исторических полотен, зачастую выступавших прямой иллюстрацией философско-исторических проектов, одновременно морально насыщенных, но монологичных. Сегодня история – это результат кропотливой и зачастую незаметной работы огромного сообщества. Поэтому целое истории (в смысле не о концепции исторического процесса, а разработанности того или иного конкретного сюжета) реализуется зачастую не эксплицитно, а имплицитно, и не автором, а читателем. Тогда и моральные суждения, осуществляемые по поводу частей подразумеваемого целого, оказываются либо неуместными, либо просто невозможными, либо искажающими общую перспективу.

Резонно предположить следующее: то, что затрудняет реализацию моральной вовлеченности, облегчает осуществление познавательных задач. Деятельность исследовательского сообщества следует воспринимать не только как складывание отдельных деталей в единое целое, а как непрерывную коммуникацию. В познании она может быть лишь рационально организованной дискуссией по поводу тех или иных тем и проблем. Но ее обеспечение можно считать даже нормативным требованием, предъявляемым к работе сообщества. Ведь только она в состоянии обеспечить искомую полноту исторического описания в той мере, в какой мы можем ее сегодня ожидать. Естественно, что это условие подразумевает использование таких текстуальных форматов, которые, так сказать, эпистемологически ориентированы на других.

В-четвертых, для обеспечения надежности исторического знания необходим диалог истории с эпистемологией. Хайден Уайт, завершая свои изыскания о нарративных форматах, имплицитно содержащихся в исторических текстах, отметил: «Если бы историки оказались в состоянии определить вымышленный элемент в своих нарративах, это не означало бы деградации историографии к статусу идеологии или пропаганды. В действительности это опознание служило бы потенциальным противоядием тенденции историков становиться пленниками идеологических предрассудков, которые они не распознают как таковые и гордятся «адекватным» восприятием «того способа, каким являются вещи» [15. Р. 99]. Иными словами, он указал на необходимость повышения степени чувствительности к характеру не только доказательств или опровержений, но и форм организации самого исторического дискурса, которые часто выступают имплицитным проводником тех или иных идеологических (в том числе и этических) установок. Резонно предположить, что только расширение масштабов коммуникации за пределы профессионального сообщества собственно историков может обеспечить искомое «противоядие».

Однако если мы внимательно присмотримся к интерпретациям требования честности, то можем заметить, что воплощают они скорее установки профессиональной, а не обычной этики. Не вдаваясь в подробности, подчеркнем их нетождественность, осознание чего уже давно нашло отражение в соответствующей литературе [16]. Это обстоятельство порождает еще одну проблему, а именно возможность их имплицитного смешения в сознании исследователей. Оно может проявляться либо в сознательном ограничении (и даже отказе) участвовать в вынесении моральных суждений, поскольку их осуществление воспринимается как выход за пределы профессиональной деятельности, либо вынесение собственно моральных суждений воспринимается как часть профессиональных функций историка. Рискнем утверждать, что как то, так и другое, говоря словами Уайта, делает историков в той или иной мере «пленниками идеологических предубеждений», только одних на входе, а других – на выходе.

Тогда вопрос о моральной вовлеченности приобретает следующую форму: сводится ли она лишь к повышению исследовательской чувствительности и соблюдению профессиональных требований? Если говорить несколько метафорически, то вопрос прозвучал бы так: этика может помочь истории, но может ли история помочь (и как) этике?

Прежде всего, рискнем утверждать, что историк как член профессионального сообщества вообще не может и не должен брать на себя функцию морального судьи. Если он и имеет право выносить моральные суждения, то не как исследователь, а как заинтересованный гражданин. Для этого он должен, говоря языком нарратологии, перейти с позиции автора на позицию читателя. Резонно предположить, что поскольку историк является не только заинтересованным, но и компетентным гражданином, его участие в моральной дискуссии надлежит считать не следствием субъективного желания, а моральным долгом.

По этому поводу отметим, что дело здесь не в сохранении веры в автономность и независимость исследовательской и моральной процедур и их механическое соединение задним числом, а поэтому не в некоторой уловке и игре с самим собой. Просто моральное суждение должно не предопределять поиск свидетельств, чтобы не предстать приговором до всякого наличия доказательств, но направлять этот поиск, чтобы найденные материалы могли о чем-то конкретно свидетельствовать. Если сказать по-другому, то исследовательские и этические суждения одинаково необходимы, но должны быть разнесены либо в пространстве и времени, либо функционально.

Как представляется, такое разнесение с отчетливым осознанием различия этих процедур может и должно сыграть еще одну важную роль. Дело в том, что моральное суждение не может быть продуктом произвольного желания и не может восприниматься как субъективное мнение, которое реализуется, к тому же, просто по ходу дела, сопровождая исследовательский процесс. Историческое знание носит коллективный характер и призвано обслуживать публичные, а не приватные потребности. Это не означает,

конечно, что следует ждать открытия окончательной истины и достижения однозначного морального решения. Скорее это подразумевает, прежде всего, что классические или традиционные формы реализации моральной вовлеченности историка, воплощаемые в исторических текстах и декларациях их авторов, утратили кредит доверия. Поэтому их реанимация и будет восприниматься как идеологическая ангажированность.

Тогда резонно утверждать, что статус этического сегодня – это приглашение к дискуссии. Иначе говоря, вынесение морального суждения по поводу общественно значимых тем и проблем может и должно быть только плодом дискуссии (и продуктом консенсуса), причем дискуссии публичной. Соответственно, публичное значение таких моральных суждений предполагает выход процедуры их осуществления за пределы компетенций узкопрофессиональных сообществ. К тому же определение морального статуса тех или иных сюжетов в современном мире давно утратило характер простоты и непосредственности. Это обстоятельство также требует расширения масштабов коммуникации. Поэтому, если говорить о месте историка или профессионального сообщества в таком коммуникативном сообществе, то уместнее обозначить его фразой «внести вклад».

Наконец, стоит предположить, в чем может и должна заключаться моральная вовлеченность историка. Говоря по-другому, в обсуждение каких сюжетов историк может и должен внести свой вклад. Представляется, что здесь можно выделить два направления. Одно более наглядно и актуализировано в общественном сознании. Оно связано с процессами, событиями и личностями, как правило, недавнего прошлого (хотя и не обязательно). Это прошлое носит, так сказать, «горячий» характер. Иначе говоря, многие историки или, возможно, общество в целом склонны трактовать его как комплекс непосредственных причин, породивших или повлиявших на современность. Как правило, значение такого прошлого связано с формированием идентичности. При этом, по справедливому замечанию Рюзена, хотя академический дискурс характеризуется определенной дистанцией от практической жизни, но в тот момент, когда тема идентичности проникает в академическую сферу, такая дистанция становится проблематичной. «Никто не может быть нейтральным, когда твоя собственная идентичность ставится под вопрос» [17. Р. 128].

Очевидно и другое. «Горячее» прошлое не сводится только к победам и успехам, а предполагает наличие травматических событий, которые зачастую не артикулируются в доминирующих исторических нарративах. Внимание к ним усиливается характером принципов, на которых строятся и должны строиться современные отношения как внутри, так и между обществами. Этот путь или путь признания предполагает одновременную реализацию как минимум двух аспектов. Первый воплощается в движении, так сказать, «от героического к травматическому» [18. Р. 46] или, говоря словами Джеффри Олика, в проведении «политики сожаления». Иными словами, речь идет о признании вины и покаяния по отношению к другим в ходе национального строительства, в тех или иных

событиях внешней и внутренней политики. Второй аспект предполагает формирование не столько общего содержания новой коллективной памяти, сколько общих принципов, на которых она может строиться, или «этики памяти» [18. Р. 46], на основании которой различные формы травматического опыта можно было бы интегрировать в коллективные идентичности. Так или иначе, такой подход обеспечивает обогащение нашего морального словаря (травма, траур, покаяние, сожаление и т.д.) и, соответственно, расширение наших интерпретаций прошлого.

Второе направление не столь актуализировано, хотя не менее важно. Оно связано уже не с прошлым, а с настоящим и будущим. Речь идет об определении характера современных социальных институтов или приемлемых форм социальной жизни. Говоря иначе, это проблема выработки концепции социальной справедливости и форм ее реализации. Историки здесь могли бы внести свой вклад в ее обсуждение, по

крайней мере, в двух аспектах. Это прежде всего экспликация происхождения современных социальных институтов. Как отметил Мишель Фуко, «я хотел бы попытаться установить, как образовался – но также как повторялся, возобновлялся, перемещался этот выбор истины, в который мы всегда уже включены, но который мы постоянно обновляем» [19. С. 85]. Задача, которая перманентно актуальна настолько, насколько предполагает переключение исследовательского внимания с явного, внешнего, открытого, легитимного на неявное, скрытое, подавленное.

Второй аспект, в обсуждении которого историки могли бы принять участие, заключается в использовании, а следовательно, и предварительной интерпретации прошлого как некоторого исторического опыта или серии опытов. Поданное в таком виде знание о прошлом могло бы внести свой вклад в обсуждение вопросов о путях и перспективах создания, трансформации или модификации тех или иных форм социальной жизни.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Southgate B. 'A pair of white gloves': Historians and ethics // *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*. 2006. Vol. 10, № 1. P. 49–61.
2. Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука, 1978. 358 с.
3. Ankersmit F.R. In Praise of Subjectivity // *The Ethics of History* / ed. by David Carr, Thomas R. Flynn and Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 3–26.
4. Jenkins K. Ethical Responsibility and the Historian: On the Possible End of a History «Of a Certain Kind» // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4. P. 43–60.
5. Мабли Г.-Б. де. О том, как писать историю // Г.-Б. де Мабли. Об изучении истории. О том, как писать историю. М.: Наука, 1993. С. 150–234.
6. Megill A. Some aspects of Ethics of History-Writing: reflections on Edith Wyschogrod's *An Ethics of Remembering* // *The Ethics of History* / ed. by David Carr, Thomas R. Flynn and Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 45–75.
7. Wyschogrod E. Representation, Narrative, and the Historian's Promise // *The Ethics of History* / ed. by David Carr, Thomas R. Flynn and Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 28–44.
8. Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. 292 с.
9. Jenkins K. *Refiguring History. New Thoughts on an old Discipline*. Routledge, 2003. 75 p.
10. Rusen J. Responsibility and Irresponsibility in Historical Studies: A Critical Consideration of the Ethical Dimension in the Historian's Work // *The Ethics of History* / ed. by David Carr, Thomas R. Flynn and Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 195–213.
11. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. 536 с.
12. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения в трех томах. М.: Мысль, 1985. Т. 2. С. 3–201.
13. Makkreel R.A. An Ethically Responsive Hermeneutics of History // *The Ethics of History* / ed. by David Carr, Thomas R. Flynn and Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 214–229.
14. Mink L.O. *Historical Understanding*. Cornell University Press, 1987. 294 p.
15. White H. Historical Text as Literary Artifact // *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. John Hopkins University Press, 1985. P. 81–100.
16. Koehn D. *The Ground of Professional Ethics*. Routledge, 1994. 240 p.
17. Rösen J. How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4. P. 118–129.
18. Nienass B. Postnational Relations to the Past: A «European Ethics of Memory»? // *International Journal of Politics Culture and Society*. 2013. Vol. 26, № 1. P. 41–55.
19. Фуко М. Порядок дискурса // М. Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 49–96.

Статья представлена научной редакцией «Философия» 20 июня 2017 г.

### WHERE DO HISTORY AND ETHICS MEET?

*Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2017, 422, 53–60.

DOI: 10.17223/15617793/422/8

Vasily N. Syrov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: narrat59@gmail.com

**Keywords:** historical knowledge; historical narrative; moral judgment; moral value; ethical involvement; ethical responsibility.

The article analyzes the ethical potential of historical knowledge. To determine the place and value of moral judgments in historical writing, a preliminary explication of contexts in which this topic is discussed and can be discussed was made. It is shown that the analysis of the forms of the connection between history and ethics can be related to determining the place and object of ethical judgments in the historical text, as well as the expedience of moral judgments in relation to the past. It is noted that objections to the ethical involvement of historians are due to the absolutization of traditional forms of connection between history and ethics, and thus they cannot be a basis for the denial of such a connection. A thesis is made that a productive discussion of the problem requires preliminary actualization of the question of the conditions of historical interest. Identification of such conditions allows to assert that the ethical dimension should become the determining principle of the organization of historical knowledge and of directions of historical

research. However, it is argued that the making of moral judgments should not be interpreted as a necessary part of each individual historical narrative. In other words, moral involvement is an immanent part of historical thought, but by no means an indispensable element of every historical narrative. A thesis is made that the making of moral judgments should not be a direct task of a historian as a member of the professional community. At the same time, the requirement of the search for truth should be understood as a requirement of professional rather than ordinary ethics; therefore, it cannot be regarded as a form of ethical involvement of the historian. Therefore, it is asserted that the connection between history and ethics presupposes the separation of the functions of research and moral judgment and is most productively realized as follows. The function of historical research should consist in the preparation and provision of materials to discuss the question of the moral validity of certain forms of the past and the present. It should be a collective discussion rather than an individual moral judgment making. It is stated that the historian is obliged to take part in such a polemic, but as an interested and competent citizen. Thus, such a discussion cannot be monopolized by individual professional communities, and the role of the historian should be interpreted as an ability to contribute to the discussion rather than to make a final judgment. In conclusion, topics are suggested in which the connection between history and ethics can be specified. First, it is the discussion of the “hot” past, which the public consciousness associates with the formation of an identity or sees as traumatic. Second, it is the discussion of the ways and prospects of creating, transforming or modifying some forms of social life (social institutions) and interpreting the past as a certain historical experience or a series of experiences.

#### REFERENCES

1. Southgate, B. (2006) ‘A pair of white gloves’: Historians and ethics. *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*. 10:1. pp. 49–61. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13642520500474816>
2. Bolingbroke, H. (1978) *Pis'ma ob izuchenii i pol'ze istorii* [Letters of the Study and Use of History]. Translated from English by S.M. Berkovskaya, A.T. Parfenov, A.S. Rozentsveyg. Moscow: Nauka.
3. Ankersmit, F.R. (2004) In Praise of Subjectivity. In: Carr, D., Flynn, Th.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press.
4. Jenkins, K. (2004) Ethical Responsibility and the Historian: On the Possible End of a History “Of a Certain Kind”. *History and Theory*. 43:4. pp. 43–60.
5. Mably, G.-B. de. (1993) *Ob izuchenii istorii. O tom, kak pisat' istoriyu* [On the study of history. On how to write history]. Translated from French. Moscow: Nauka. pp. 150–234.
6. Megill, A. (2004) Some aspects of Ethics of History-Writing: reflections on Edith Wyschogrod's An Ethics of Remembering. In: Carr, D., Flynn, Th.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press.
7. Wyschogrod, E. (2004) Representation, Narrative, and the Historian's Promise. In: Carr, D., Flynn, Th.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press.
8. Danto, A. (2002) *Analiticheskaya filosofiya istorii* [Analytical philosophy of history]. Translated from English. Moscow: Ideya-Press.
9. Jenkins K. *Refiguring History. New Thoughts on an old Discipline*. Routledge.
10. Rusen, J. (2004) Responsibility and Irresponsibility in Historical Studies: A Critical Consideration of the Ethical Dimension in the Historian's Work. In: Carr, D., Flynn, Th.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press.
11. Rawls, J. (1995) *Teoriya spravedlivosti* [A theory of justice]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
12. Lock, J. (1985) *Sochineniya v trekh tomakh* [Works in 3 vols]. Translated from English. Vol. 2. Moscow: Mysl'. pp. 3–201.
13. Makkreel, R.A. (2004) An Ethically Responsive Hermeneutics of History. In: Carr, D., Flynn, Th.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press.
14. Mink, L.O. (1987) *Historical Understanding*. New York: Cornell University Press.
15. White, H. (1985) *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore; London: John Hopkins University Press. pp. 81–100.
16. Koehn, D. (1994) *The Ground of Professional Ethics*. London; New York: Routledge.
17. Rüsen, J. (2004) How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century. *History and Theory*. 43:4. pp. 118–129. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2004.00301.x
18. Nienass, B. (2013) Postnational Relations to the Past: A “European Ethics of Memory”? *International Journal of Politics Culture and Society*. 26:1. pp. 41–55. DOI: 10.1007/s10767-013-9137-8
19. Foucault, M. (1996) *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The will to truth: beyond knowledge, power and sexuality. Works of different years]. Translated from French by S. Tabachnikova. Moscow: Kastal'. pp. 49–96.

Received: 20 June 2017